

СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЁВ

Ёжка

ЗАТОЧКА ПЕРЬЕВ



Сергей Журавлёв

Ёжка

«Издательские решения»

Журавлёв С.

Ёжка / С. Журавлёв — «Издательские решения»,

Автобиографические фантазии, эссе о прошлом и будущем, неуклюжие стихи рефлексирующего интроверта. Читатель сам вправе решить, что здесь правда жизни или домыслы автора и что — рассуждения героя.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Ёжка | 6 |
| До | 6 |
| Проблески | 9 |
| Воля | 11 |
| Признание | 16 |
| Гора | 20 |
| Весточка | 24 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 25 |

Ёжка
заточка перьев
Сергей Журавлёв

© Сергей Журавлёв, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ёжка отцу

До

Эта роженица удивила даже тёртого жизнью, и потому крайне циничного зав родильным отделением. Брызгаясь слезами, она звонко хохотала при начале каждого потуга, а между ними нещадно материлась, промеж этажей вставляя то Ж, то Ё. И было не понять, то ли это начала матерных оборотов, то ли их первопричины. Когда, наконец, в руках у доктора оказался головастый мальчуган, мать глубоко выдохнула и отключилась... до крика ребёнка, чтобы снова захохотать. От такого и новорожденный перешёл на прерывистый ор, отчего стало казаться, что хохочут оба. Медики на минуту остолбенели.

В тот день Женька посещал Женьку. Он был важным и загадочным, отчего его круглые очки топорщились на слегка мясистом носу особенно явно. В отличие от большинства очкариков, у Женьки не было привычки поправлять очки, отчего они жили на носу собственной жизнью, пока он не снимал их, чтобы посмотреть куда-то в небо на минуту-две очередной задумчивости. Когда он хотел быть важным или загадочным, очки почему то сползали к кончику носа, и он задирает голову, чтобы их не уронить. Хотя возможно последовательность была обратной.

Полуарбузная Женька, явно гордясь своей предродовой красотой, стояла на подоконнике окна первого этажа, в полуобороте привстав на цыпочки и вытянув шею, чтобы выглянуть в форточку. Её живот, прижатый к стеклу, от этакого кульбита выглядел ещё внушительней. Беременность была сложной. За 65 дней сохранения было лишь две встречи, когда можно было через форточку перекинуться парой слов. Женьке приходилось чаще довольствоваться видом мужа из окошка палаты на третьем этаже и общаться на языке жестов, возникающих в ходе «разговора», которых постороннему было не понять, да и самим говорунам, кто бы показал, никогда не разобраться. А Женька едва угадывал сквозь стекло лицо жены. Только движения рук были очевидны. Конечно, был телефон у дежурной медсестры, по которому дозволялось позвонить раз в день, однако эмоциями делиться через него, да ещё под бдительным надзором сестры, не получалось. Разговор ограничивался односложными «ну как» – «ничего», «скорей бы» – «терпи» и затухал через минуту всхлипами в роддомовской трубке.

Но сегодня Женька позвонил и сказал, что ждёт у форточки. Эта процедура была действительно опасной для плода. Без крайней надобности Женька ни за что бы не потребовал столь ненужного подвига от жены.

Карие Женькины глаза даже сквозь очки блестели ярче стёкол.

Он не здороваясь выпалил «Подумай как мы его назовём!?!», и вытащил из холщёвой сумки, в которой всегда носил очередную книгу, ...ежа. «Кого?», только и нашлась ответить Женька. Ничего себе повод!

– Да не ежа конечно. А ребёнка.

– А ежа то казать зачем?

– А он на меня сам сегодня вышел. Вот я и решил, что это знак. Вот и думай теперь как его назвать.

– Ежа что ли???

– Да нет же. Ёж это знак, намёк. Он подсказка. А нам отгадать. Вот.

– Ну ты Жуёв, балбес. Иди и сам думай. Нашёл тоже намёк. А пятый шприц сегодня в мою попу – это не намёк?

Женька обиделся.

Она повернулась и неуклюже осторожно стала опускаться на болевшую попу, чтобы затем спуститься с подоконника.

Женьке снился сон. Её живот вдруг пророс щетиной. И щетина эта растёт и растёт, на глазах превращаясь в иглы. А тут как раз утренний осмотр. Доктор от увиденного аж антигигиенично влез обеими руками под шапочку, отчего та упала, открыв сцепленные пальцы, меж которых торчал ряд довольно длинных седых волос на манер конских волосьев на шлеме древнего грека.

– Н-да-а-а-а... Ты что же это, ежа вынашиваешь? Не положено! А принимать то как?

Сопровождающие сёстры дружно закивали, одна хихикнула и испуганно отвернулась.

– Не положено, но ведь требует. Переполошил всех.

Кто-то дёргал её за плечо. В ужасе открыв глаза, она попыталась вскочить, хватаясь временно за живот. И вlepила лбом по носу санитарке, которая наклонилась над её лицом, видно собираясь что-то сказать. Санитарка охнув отпрянула, поскользнулась и шлёпнулась на пол, смешно вскинув ноги и разметав полы халата.

Палата заржала. Санитарка поднялась, плюнула сгоряча, и была такова. Лишь из коридора донеслось «Нувас».

Женька оторопело оглядывала палату. Никакого доктора и осмотра не было. Пять соседа в разных позах корчились от смеха. Ближняя, Тонька, давясь и сморкаясь в кулачок, пыталась выговорить:

– Твой... кха... её достал. Кха-ха-ха. Требует тебя.

Женька глупо заулыбалась. Потоптала отвечать. Трубка лежала на аппарате. Сестра встревоженно смотрела то на неё, то на дверь их палаты, за которой не умолкали смешки и гомон.

Женька, всё ещё не придя в себя, пошла на первый этаж.

Женька толкался под окном. Без очков, но со ссадиной в половину лба.

Близорукими глазами он зачарованно всматривался в смутно карабкающийся за стёклами силуэт, слегка подпрыгивая от нетерпения.

– Ты что, сбрендил, второй раз за сегодня.

– Нет. Я не вытерпел. Извини, но я отгадал.

– Чего отгадал.

– Ну как же. Загадку.

– А другого времени не нашёл. Загадки ему.

Уже смеркалось. Что для летнего севера означало глубокую ночь.

– Понимаешь, я всё уснуть не мог. Решил с ежом к лесу пойти, чтоб отпустить. Да очки не взял и хряпнулся об какой то сук. Тут меня и озарило. Когда очнулся.

Он потупился, но тут же ляпнул:

– Серёжа!

– Тебя чё, совсем шандарахнуло? Какая я Серё-ё-ёжа?

– Да нет же. Это отгадка.

– А ёж то причём?

– Так ведь Серёжа-Серёжка. Вот и ёж. А он кстати убежал, пока я там звенел. От сука.

– Кто сука!?

– Да не кто, а я звенел от удара об сук.

– Серёжка – ёжка! Дурак ты Жуёв.

И тут её пробрало. Приснула. Хохот рванул наружу, и остановить его она не могла. На счастье, любопытная Тонька, да Эмка-немка, со второй койки от правого окна, рванули на разведку. Ежели б не они, история, не успев начаться, могла и кончиться. Так как Женька,

среди смеха вдруг ойкнула, отпустила руку с форточной фрамуги и, хватаясь за живот, повалилась с подоконника. Девки едва успели подставиться и вместе, но уже мягко, осели за пределы видимого Жуёву пространства.

Женька кружил в приёмном покое до зова трубы ближайшего завода, зазывавшей к работе. Голова трещала. Он не знал, что там было дальше. Только сквозь форточку доносились крики, да короткое время нервные хохотки. Санитарка в приёмном, открыв дверь на звонок и почему то прикрывая нос, заносчиво и гнусаво заявила «Вди», ушла в глубь, и больше он никого не видел.

Зав, дежуривший в ту ночь, не раз поминал потом об этом случае, и очумелом отце, от радостной вести метнувшимся в пляс и упавшем задом в дверной проём. И всё бы ничего, будь дверь не заперта. А так пришлось проводить чуть ли не реанимационные процедуры. Только вот незадача. Ударился новоиспечённый папаша затылком, а ссадина то оказалась на лбу?!

Проблески

Конечно не рождение запомнил Ёжка первый раз. Хотя всю жизнь, начиная с 7 лет, когда впервой довелось ему посидеть со взрослыми допоздна за новогодним столом, эта история сопровождала его, сначала в рассказах пачемунь и баушек, а затем и в собственных интерпретациях при желанных знакомствах и после излишне выпитого.

Он долго считал, что его первым памятным событием стал спуск с двухметровой горки на деревянных лыжах, когда ему было 3 с половиной.

Однако уже после 40-ка увидел в родительском альбоме фотографию, на которой они с Рюшкой в пелёнках играют с резиновым жирафом. Такие вонючие и шершавые надувные игрушки в конце шестидесятых были чуть ли не единственными в магазинах его малой родины. Му сказала, что ему на фото 1 год и 2 месяца, а это не запоминается. Но он то вспомнил, как в деревянном доме на застеленном верблюжьим колючим одеялом диване, пока взрослые что-то делали за столом, они со старшим почти на год Рюшкой играли, пытались порвать «рафу» то руками, то зубами, пока он не сыграл с дивана. Всё. Дальнейшее осталось непамятным даже для взрослых, и кому больше досталось, Рюхе или Ёжке, уже не узнать.

Кстати из непамятного. Неизвестно, от кого Ёжке досталась тяга к падениям. Ведь отличились в своё время и Паче и Муня. Когда ему было лишь 2 месяца, родители поехали хвататься в Деревню. Дед и баушки на радостях устроили пир, а ребёнка, чтоб не мешал и ему не мешали, обложив скрученными половиками со всех сторон, оставили на кровати в соседней комнате. Когда рёв оторвал взрослых от рюмок, выяснилось, что запелёнатый Ёжка лежит на полу, а половики нетронуто – на кровати. Вот такая загадка. Во всём, думается, тот ёж виноват. Это было первое путешествие Ёжки. Деревня так и осталась его главным географическим, да и не только, открытием.

* * *

Его рядовое, думается, детство пришлось на те счастливые времена, когда в стране установилось относительное благополучие, большинство людей были благодушны и щедры в простоте и непритязательности, и многое посвящали семье и друзьям, а также природе.

В Деревенском доме каждое лето было многолюдно. Съезжались родственники и их друзья. Каждую субботу тёушка Маня и паушка Нюра на всю ораву заводили стряпню, аромат которой так врос в подкорку, что в каждом куске хлеба впредь он вынюхивал запах тех пирогов и ватрушек, прежде чем есть эти жалкие подобия. Потому то, наверное, городская домашняя еда, кроме жареной до угольного пласта картошки, недельного борща и маушки Ани картофельных шанег, обмазанных топлёным маслом, не вызывала избыточного слюноотделения. А вот в гостях – другое дело.

* * *

Его всегда тянуло придумывать, коверкать и сокращать слова. Началось с самого первого.

Он много орал, точнее хохорал, как сказал, впервые услышав это, Дед. Видно Ёжка напугался тогда вместе с медиками. А потом, месяцев 9-ти с половиной, вдруг превратился в молчуна, только жующего что-то в моменты возбуждения; при этом Ёжка вперивался широко открытыми карими глазами в объект внимания и пока не дожёвывал, не отрывал глаз, а может и наоборот, пока не отрывал глаз, не переставал жевать. Родители не на шутку испугались, но более двух месяцев ничего не могли вытянуть из мальчика. Детский врач, дважды придя

на вызов, не нашёл никакой патологии, но под пристальным взглядом ёжился, и выписывал какую-то витаминную, кислую микстуру, поясняя, что мол от кислого его должно прорвать на рёв.

Ох уж эти карие глаза. Женьку поражал контраст между цветом глаз и совершенно белым хохолком на макушке шарообразной головёнки. Кареглазый блондин не входил в её представления о мужской привлекательности. И от кого только? Ясно, что глаза от Женьки. Но ведь они оба шатены. Незадача.

Вдруг, как раз в 1 год и 2 месяца, только вот никто не помнил, в тот ли день, когда Ёжка сыграл с гостевого дивана, скорее на следующий, он за завтраком долго смотрел на мать, жевал, и когда в кухне наступила звуковая пауза, громко и звонко выдал «НЯ». И перестал жевать, продолжая зыркать. Женька аж поперхнулась, а Женька уронил на пол очки и вилку с самым вкусным куском котлеты, который всегда оставлял напослед. А иногда, даже на послечай, чтобы по дороге на работу смаковать вкус жареного мяса.

С этого дня повалилась череда метаморфоз, преобразивших мальчугана за три месяца до неузнаваемости. Во-первых он заболтал двузвучиями, не менее чем на секунду разделяя их, чётко выговаривая звуки.

Во вторых, у него на голове стала прорасти щетина. Именно не пушок, а вполне упругая и колючая щетинка. Притом цвет её был каштановым. За исключением всё того же белого хохолка, мягкого и покладистого.

В третьих, и это более всего впечатлило всех знавших, у Ёжки посинели глаза! А пристальный взгляд остался.

* * *

«Че»! Казалось, множество интонаций можно было уловить в этом определении Женьки – отца. Ёжка умудрялся наполнить эмоциями любое общение с отцом или упоминание об отце, произнося лишь это непонятное и явно противоречащее традициям и представлениям о первых словах младенцев то ли слово, то ли что? А вот Женьке – маме не свезло. «НЯ» всегда было одинаковым. И она всё гадала – это всегда на пределе сыновних чувств, или вне эмоций вообще.

Че Гевара был тогда в пике славы Но Ёжка о нём знать ещё не мог. Да и Женька никак не походил на героического идеалиста – террориста.

Но для Ня то вовсе не было подходящего персонажа.

* * *

Ёжка часто мечтал, уставясь в эти моменты в одну точку и каменея всем телом, что сильно озадачивало свидетелей. В мечтах он действительно улетал, забывая про себя, и оказавшихся рядом собеседников или не всегда подходящую для грёз обстановку.

Воля

11-ти летний Ёжка балансировал на торце здоровенного деревянного столба над такой далёкой отсюда и такой твёрдой воронёной гладью воды уже несколько минут, теряя самообладание всё больше. Но слезть обратно не мог, т.к. деревенские пацаны пристально и уже ехидно смотрели на него, городского задаваку, ляпнувшего «Запросто!» на предложение прыгнуть с пятиметровой высоты. И вот теперь, от ужаса и от стыда, не мог решиться ни туда, ни обратно. Противный свист сдержнул оцепенение. Падение было неудачным, пластом. Из воды его вытащили почти без дыхания. Откачали. Смеялись обидно. Но он вернулся на следующий день. И нырнул. Вновь отбил икры ног, но обрел друганов и уважку. А когда в глубине упёрся в дно руками, и открыл в панике глаза, то прямо перед ними увидел здоровенного рака, поклавшего клешнями и умчавшегося задом оперед. Хвастался, трясясь от пережитого, разводил руки, кричал «О!». Не верили, смеялись задорно, ободрительно. То ли у страха глаза велики, то ли тот рак в тот раз свистел. Ждал. Стало быть.

Каждое, без исключений, лето до окончания школы Ёжку и Ёньку пачемуни отвозили на Деревню к Деду, паушке и тёушке. Родители гостили недолго, а братья почти всё время летних каникул оттаивали от дисциплины и так дичали, что только к новому году приходили в себя, и начинали толком учиться, подчиняться.

Деревня от отъезда к приезду отмирала дворами, из пятнадцати тысячного процветавшего при картонной фабрике рабочего посёлка неспешно превращаясь в прореженную хуторскую агломерацию из ветшающих деревянных домов. Однажды проложенная асфальтом улица, конечно Ленина, переходящая в дорогу к районному центру, разбивалась от года к году, но в сравнении с жутким бездорожьем до, даже в зрелом возрасте казалась Ёжке приемлемой. Ведь он то помнил, как на грузовиках с подтягом тракторами они с отцом преодолевали ранним туда и поздним обратно летом «последние» шестьдесят километров, чавкали в грязи от брошенных на произвол удачной погоды машин.

– Тупик, он и есть тупик, – вздыхал Дед всякий раз при встречах и расставаниях, – помрём вот, и зарастёт всё лесом. Освободится.

А Ёжке нравилось. Благодаря тому, что за Деревней дорога-улица кончалась, и только направления в лесные делянки и бывшие деревеньки указывали, что жизнь там какая то или есть или была. Потому вокруг Деревни была непуганная людьми дебрь, от которой их, детей, никто не ограждал. Там и пропадали подолгу, в охотку то за грибами или ягодами, то просто, шатались по тропам и лугам, придумывали, додумывали и досказывали всякие приключения, попадали в переделки, оправдывались перед Дедом. А тот их конечно строжил, а сам любился глазами, не то что баушки, охали да квохтали.

Все их похождения, однако, были словно привязаны к речке Вол, рассекавшей Деревню и дебрь. И перетянутой пополам. Плотиной-мостом. Мост по над плотиной получился горбатым, т.к. был деревянным, и конструкцию сделали арочной, однако пристроенный пешеходный переход-подход к подъёмникам щитов, регулирующих уровень воды в запруде, был прямым. Со столба центрального из трёх подъёмников Ёжка и прыгал. Много. Нравилось. Быть среди немногих смельчаков.

Фабрика забирала чистую воду из запруды, чтобы потом выбросить целлюлозную грязь, убивающую Вол совсем на десятки километров вниз по течению. Грязь та склизкой ржавчиной оседала на берегах, расплзалась по всей округе в паводок. Высыхала и свисала с ветвей деревьев. Валялась лепёшками на лугах наряду с коровьими. Противно воняла. И даже после

остановки фабрики в окаянии всероссийской разрухи, когда Ёжка только вошёл в зрелость, речка восстанавливалась долгие годы.

Так как родовое гнездо, крепкий пятистенок на две семьи, в коллективизацию разобраный в родовой деревне и перевезённый в рабочий посёлок, оказалось у Вола ниже плотины, то местным детишкам, составлявшим с приездом братьев ёков отважную летнюю ватагу, приходилось ходить купаться за «горбатый». И там, на запруде в жару отрываться целыми днями, забывая про еду. Там же Ёжка научился плавать. Когда отец рассказал, как бултыхался в омуте под хохот старшего брата, выбрасывавшего семилетнего Женьку из лодки на глубину, Ёжка утвердился в мысли, что с ним такое не пройдёт, и он утонет камнем. А потому учился сам, всё глубже и глубже уходя в глубь с лягушатника, мелкой заводи, в которой под приглядом мамаш плескались малыши и бесились в играх младшеклашки. В 9-ть под Ивана-Купалу решился, и неожиданно легко переплыл запруду, как спустя годы оказалось, совсем не широкую. А ночью, гордый собой, прыгал через костёр.

Однажды, в 12-ть, у моста выдержал экзамен боем, когда с Ёнькой, вдруг оказались окружёнными местной братвой во главе с известным всем ухарем Вокой Чёрным. Так его звали за цыганскую смуглявость и наглость. Не было тогда ни толерантности, ни шовинизма. Звали и звали. Поровну.

Так вот, братва подначивала «Ну чё, смелый да!? Давай помахаемся! Ща отделаем, маме плакаться будет нечем!» Вока молчал, хмырился разбойничьей рожей. Сплёвывал. И нарвался. Ёжка глядел только на Воку, и сам не понял с чего, нещадно трусая крикнул негромко «А давай! Один на один!». Шайка вмиг утихла. Запереглядывались. Старшие, трое лет по 13-ть, засели на лежалое, проросшее мхом бревно, и давай совещаться, не желая поступаться авторитетом перед Вокой, но и всем видом намекая, что мол, Вока заводила, вот и пусть. Вока помялся было, и тоже сел на бревно. С краю. Круг рассыпался, младшие сбились в кучки. Ёжка ждал позора, пока какой то, оставшийся в одиночестве пацан не произнёс почти шёпотом «Да идите же, чё тут.» И братья ушли. Правда, уже на подходе к дому услышали шлёпы босых ног по утоптанному песку. Обернулись как раз на расстоянии вытянутых рук двух пацанов из младших, один из которых скользом мазнул кулаком о Ёжкину щёку и был таков. Второй убежал ещё быстрее. Вдалеке толпилась оконфузившаяся шантрапа. Тот что «вдарил», заходил с того дня гоголем, победно посматривая на братьев. Щека же даже не покраснела. Пошла молва про «каратиста» Ёжку, к которому лучше не подходить. В то время карате стало запретным культом, и всяк городской видимо должен был быть в глазах этих, не допущенных к модным единоборствам, ребят обязательно обученным всяким там «ху!» и «йя!». Следующим летом Вока задружился с Ёкой.

Это состояние преодоления отчаянного желания бежать Ёжка пережил ещё дважды. Той же осенью стоя под ножом к своему горлу в хапе пьяного в густых наколках рецидивиста, просто так выхватившего паренька из стайки авиамоделлистов, шумно возвращавшихся с соревнований. И уже будучи офицером, когда шёл спасать соседку от упоротого в зю любовника, оравшего на весь двор, что зарежет. Каждый раз, словно выползая из липкой смолы, он еле еле двигал членами и языком в пересохшем рту. Во второй раз не отпускала мысль, что так, наверное, люди встают в первую атаку, под пули ли, в штыковую ли. И всматривался в кадры кинохроник, обращая внимание на то, как медленно бегут бойцы. В смоле не больно то разбежишься. Службу его миновала война. Не испытал.

В 13-ть догадался, почему вся их последняя вдоль Вола улица отсечена от реки дамбой. Говорили, что для спасения от паводков. Нет. От целлюлозной грязи! Произошло это, когда случилось наводнение и улицу таки запрудило. Грязь пронесло. Дамба эта возвышалась над

плоским позаулицей полем. И Ёжке нравилось сидеть «на горе» и смотреть округ бесцельно безмятежно. С одной стороны Воля, с другой воля. Поле простиралось далеко, не как степь конечно, и за ним оградой тёмная дёбрь. Ёжка, к тому времени уже зачитавшись книгами, представлял себе Поле, и не представлял. «Как это так? Бескрайнее!? Скучно же.» И правда, скучно. Когда прибыл служить в Казахстан, Поле его не приняло. Смотрел на горизонт, на колышущийся ковыль, и стыл от тоски под жарким ветром. И невольно подвывал замученную в детстве под ненавистный баян:

Степь да степь круго-о-ом,
Путь далёк лежи-и-ит.
В той степи-и глухо-о-ой,
Поо-мии-рал ямщи-и-ик.

В то же лето, улетая на «кукурузине» Ан-2 впервые без рвотных рефлексов «мордой в пакет», лишь икая и сглатывая на воздушных ямах, наконец, смог всмотреться и влюбиться в зелёное море тайги, бескрайней как Поле, но другой, скрытной, таящей в себе тропы и тайны, множества множеств. Летел и думал о Воле и Воле. Воле к преодолениям и победам, и Воле как высшей степени свободы, загоризонтном, отрывном от маятных причин чаянья, почти недосяжимом, но манящем, не дающем успокоиться и смириться.

Воля к Воле на Воле (у) стала его альтер-эго.

В 14-ть вновь на валу у Воля, Ёжка раскладывал «парадокс русской Воли». Прочтённого и слышанного про войны и бунты было достаточно, чтобы чувствовать и не понимать эту двойственность в себе и других. Только истинно вольный человек может проявить столько воли, что готов к самопожертвованию. Ему представлялись Ермак Тимофеевич, шедший с дружиною своей, Афанасий Никитин за три моря, Семён Дежнёв через льды на Восход в неизведанное, «на волюшку», почти без шансов вернуться на родину. Казаки, старообрядцы, скитники, беглые крепостные и каторжные уходили наволю, осваивали закраины и пустыни. Преодолевали непреодолимое, проявляя волю. И даже будучи или становясь вольными всё равно искали воли. Оттого, видно и к юридическому отношению было почтенным, что те вольны были на всё. Оттуда и тяга в «Полюшко поле – полюшко широко поле...», и смысл «волюшка воля», «воля вольная». Поле, несмотря на жизнь в основном в лесах, ассоциировалось в массовом православном-крестьянском сознании с кочевничеством, поганой (гонимой, вольной) жизнью чуждых для понимания, и заманчиво свободных людей. Будто бы там и только там, в Поле необъятном, за морем бескрайним, пущах непролазных, скрывалась воля. Настоящая, неизведанная, манящая, отречённая, обречённая, запредельная. Такая, что и сгинуть не страшно. Лишь бы испытать. Отсюда и сподвиг, преодоление привычки с нажитому, привычному, и неважно, к плохому или потребному, разрыв течения времени и бытия, в пользу воли.

И надо же, в деревенской библиотеке наткнулся на сборник рассказов и повестей Николая Лескова, и словно в ответ на собственные рассуждения прочитал в нетерпении откровений «Железную волю». В недоумении закрыл книгу, выждал день, ушёл в поле, неспешно перечитал. Захлопнул гневно.

– Нет. Не наша воля. Глупая. А наша? Дикая. У него, у немца, расчётная. У нашего, у скифа, раздольная. Ему, немцу, места мало, вот он и упирается, в загоне. А нашему «иди не хочу», и везде тесно. Немец всё вглубь копает, а наш – вширь бросается, не глядя под ноги. Немец весь в аккурате, а наш набекрень. Ну и кто лучше?

Не удержался, спросил Деда:

– Почему у нас Воля такая сложная? И про упорство, и про свободу.

Дед, сельский интеллектуал, всегда подтянутый, признанно справедливый, рассуждающий соседей в спорах, озадачился.

– И правда, сложная. Не думал. Так. Пожди.

Ждал Ёжка ждал, и уехал ни с чем. И только перед смертью, лютой зимой, когда Ёжка приехал проездом погостить днями, Дед разоткровенничался про войну.

Много рассказал, долго рассказывал. Жилы вздувались на лице и шее, местами страшной памяти. Передыхал, умалчивал.

– Отступали бестолково, огрызались, бежали, закапывались, отстреливались. Кончались патроны, снова бежали на наших, затаривались арсеналом, атаковали. Оставшиеся откатывались. Самое страшное началось на Волоколамском шоссе. Москва рядом, вал техники к ней. Все орут. Истребители, все в размочаленную снеговодную грязь. Бомбардировщики – в россыпь. Сталкиваем разбитую технику и бредём. Казалось всё, кончилась война. И вдруг, свежие мужики в белых полушубках. Навстречу. Строем. И все перед ними расступаются. За ними сталпливаются. А через время новый строй. И мы уже, за ними, друг друга строим. Ищем, кто бы скомандовал. А в душе Песня! И плевать, что там обратно жуть. Смерть. И мы грязные, рваные, измёрзшие. Собрались под началом юнца-лейтенанта, и просим: «Командир, веди!». Из разных частей, кто в чём, собрались в роту и следом. Так оттопали, почти без оружия километров 20-ть. А нас новенькие танки обгоняют. И гром впереди. Мясорубка. Вдруг тормозит перед нашим «строем» «газон», а из него генерал в скрипящих ремнях. В новенькой, как твоя сейчас, форме. И говорит «До ближайшей деревни. Ждать обоз. На переформировку!» А мы против. Кричим «На передовую хотим, пустите!» И лейтенант геройствует «Товарищ генерал! Как же так. Мы на фронт, а вы нас!». А генералу не до нас «Нарушите приказ, под трибунал!». Поникли мы, бредём. А мимо свежие части, техника. Прут и прут. Лица суровые. И среди них видно сразу, кто впервые, а кто не впервой. Только через месяц нас выпустили на фронт. А ведь казалось же, что и сил нет, и немца не остановить. Откуда всё, и как?!

– Или вот. Идём в атаку, повезло, за танком прячемся. Экипаж знает, что мы за ним, и притормаживает. Пули шмякают в броню, свистят противно. А нам всё неймётся, рожи высовываем, посмотреть что да как. И ведь не нужно. Танк прёт, командир на броне за башней, смотрит. Так нет же, погреешься о выхлоп. Вонючий! Чихаешь, а лезешь, греться. Задохнёшься, отстанешь, догонишь и глядеть, что там впереди. Пока не шмякнет рядом, или не прожужжит. Откинешься «пронесло», пережидаешь. А сосед шею тянет. И всё так, в войну. Знаешь ведь, как риска лишний раз избежать, ан нет, нет нет да лезешь на рожон. Иначе скучно.

Ёжка слушает, представляет. Не получается.

А Дед уже весь в себе, и забыл, что с внучатым племянником делится.

– А как границу то перешли, вот распахнулись то. В Чехии это было. Зашли значит и не поняли. Вроде и отличий от бывшей Польши никаких. Всё ладно, вылизано. А успели привыкнуть к новой Белоруссии, и за своё считали. Да и не было у меня никакой зависти. Вот красиво всё, а не то. Мелко. Скаречно. Но на душе ликование. Словно уже победили. Словно всё позади. И уже не важно, живу быть или костями лечь, как дед твой под Варшавой, а хорошо! И задор такой был, что городки их брали наотмашь. Пронеслись через Чехословакию штормом. И ухарством вроде бы плескало, а опыт уже не давал погибать. Экономили жизнь, инстинктивно уже, автоматически. И вдруг, граница с Германией. И надписи эти, ненавистные, на указателях. Заходим в городок. А он пустой. Обшарили и остановились на отдых. Командиры собрались в ратуше, а нам, свобода! Ну и пошли мы с товарищем смотреть. Куда не зайдём, везде порядок. Словно немцы, уходя, генеральную уборку перед приходом гостей навели. Если где и есть оторванные двери или штукатурка осыпавшаяся от пуль, так это наши наследили. Зайдёшь в квартиру, а там даже шкафы и шкафчики закрыты. Фотокарточки висят. И на них самодовольные, ухоженные до противного... враги. Злобишься, смотришь и не сдержаться, бьёшь прикладом, пинаешь что ни попадя сапогом. Так прошли пару кварталов, и много всякого, чего и не видали то, а брать противно. И ломать, мазать, рвать быстро надоело. Всё одинаково. Игрушечно. Не по настоящему. Вышли к какой-то фабрике. Красный кирпич, солидно,

с узорами. И стена. Большая. Кое-как перемахнули. А фабрика то ткацкая. И опять, чисто всё, аккуратно. Приторно. Попали на склад. А там!!! Ткани, ткани, ткани. Красок, цветов, узоров не счесть. Тут уж не до брезгливости. Мы хватать, выбирать. И то нравится, и это. Час выбирали, вещмешки набивали, опрастывали. Бросались к другим рулонам, отматывали, отрезали. Шли, увлекались, и вновь. На жену всё примерял. И так-то хорошо, и этак. Устали, сели на сваленные рулоны, курили и молчали. Взял я, таки, Марье своей цветастый отрез, да Нюре, сестре в маленьких редких розочках синий, ну и себя не обидел, полосатый кусок на глаз, на костюм, отмахнул. А друг и того меньше, жене да дочке, что поярче, и всё. С полупустыми вещмешками ретировались. Потом неделю друг другу в глаза смотреть не могли. Нюрин отрез так и лежит в чулане. Не притронулась. Да, и вот ещё. Много игрушек было. Но взять не мог. Детей обидеть.

И под утро, между клочков пороховых воспоминаний:

– Вот ты меня про Волю спрашивал (словно вчера?!). Так её хоть думай, хоть передумай. Вот какая есть! Как Петровский медный пятак, о двух сторонах, о двух головах. Тяжёлая. Такая, что подняться и нести не всяк может. И не учит ей никто, да и научить нельзя. Вот есть она у нас, и есть. Выматывающая. Вдохновляющая. Сколько не думал, не объясню. Деда вот твоего всё вспоминаю. Справный был мужик. Вместе уходили, и вот. И кому из нас воля?

У Деда из одного глаза пролилась слеза. Снова вздулись жилы.

В 15-ть Ёжка решил пойти в офицеры. А в космонавты постеснялся.

Признание

Ёжка, лет с 14-ти, поделил свою предстоящую жизнь на три этапа. На до нового века и до и после смерти отца.

Во-первых, смена веков представилась ему серединой собственной жизни. Из 14-ти лет тот Ёж казался ему почти стариком.

Во-вторых, ему трафило стать не просто свидетелем перехода в новый век, а первооткрывателем нового тысячелетия, что довелось не так уж и большому числу людей из общей массы, несмотря даже на то, что придумывать начало новых эпох, т.е. отсчёта лет с самого начала, как оказалось, было немало охотников. И он был бы не против приложить руку к новому летоисчислению, совершить или стать участником свершения, достойного старта новой цивилизации. Более того, Ёжка был неколебимо убеждён, что начало 21-го века само по себе станет причиной эпохального сдвига, меняющего саму человеческую сущность. И мнились ему разные сценарии наступления новой эпохи.

Легче всего было с коммунизмом. Для этого требовалось совсем чуть. Убрать бы из привычной жизни деньги и влияние порочного Запада. Идеальным коммунизмом ему представлялись кинокартины 30-х – 50-х годов и рассказы родителей о том, как прошло их детство в чистоте помыслов и подавляющей честности окружавших. Почему-то к его коммунизму путь вёл скорее назад, чем вперёд. В прогрессе и эволюции ощущались угрозы. К тому же, коммунизм ассоциировался вовсе не с раем, а с бесконечной героической борьбой. Причём не за светлое будущее, а за Справедливость, сформулировать целостное определение которой ему никак не удавалось.

Для окончательного перехода к коммунизму требовался глобальный кризис Запада, в котором их деньги полностью обесценятся, а значит и в СССР от денег можно будет отказаться. А каковой станет жизнь после, ему не думалось. Случилось бы, а там Борьба за Справедливость всем воздаст по заслугам их.

Другие сценарии были сложнее и туманней.

Например, триумф Технического прогресса. Казалось, что должно произойти какое-то открытие, которое сделает человека другим. Причём либо путём собственно мутации, либо в результате подчинения Машине. Оба варианта его не прельщали, однако третьего не виделось. Куда мутировать? Отрастить крылья и летать? Заманчиво, но мало что меняет. Меняться внешне какнибудь ещё? Он даже рисовал «идеальных мутантов», меняя им форму, прибавляя членов, но никак не получался гибрид, чтобы был и «полноприводный» и гармоничный. Он придумывал им свойства. Телепортация, чтение мыслей... Всё не то. Фантасты этим уже пугали. Что же тогда должно изменить в человеке открытие, достойное начала новой эры? Доброта!!! Вот смысл и повод для глобальных перемен. Если бы люди перестали быть злыми...

Машина портила всё. И во всём могла помочь. Это противоречие проявляло тщедушного человечешку, оплывшего жиром и способного лишь на команды, и те без утруждений языка. Человек этот мнил себя богом, а на деле Машина притворялась, а может и нет, обожествляя этот водянистый мешок в угоду собственным прихотям. Бр-р-р... Однажды, словно в подтверждение, он прочитал фантастический рассказ о том, как гений изобрёл и совершенствовал механизм, преумножавший его силы и способности, обрастая искусственными мышцами, крыльями и чем-то там ещё, пока надетый на него «костюм» не выбросил хозяина... Человек – атавизм. Вот это повод для начала начал.

Большая война! Что-то будет, если все достижения цивилизации будут уничтожены ей самой? Каким тогда путём пойдут остатки человечества? Неужели снова за прогрессом ради

повального уничтожения? Представлялось, как выжившим вновь придётся изобретать «колёса и велосипеды». Скучно повторять, а как и куда стремиться не вторя предкам? В природу! Вглубь себя! Так говорят, что Тибет только тем и занимается. А кому от того хорошо? В веру!? Так ВЕРА ХЛЕБА НЕ НЕСЁТ! Скорее требует постоянных жертв и самоистязаний. Вопрос остался без ответа... тогда.

Инопланетяне! Вот повод для переворота всех начал. Вот тогда то всё бы и узнали. Узнали что? Будущее собственного прогресса? Тайны, не раскрытые ещё наукой? Тайну БОГА!!! А вот на пользу ли? Эх... Как хочется всего и всякого. Как боязно от хотения. Как в этом знании не забыть себя и не разменять собственное будущее на чужую мякину?

Пугал и манил переход.

В-третьих. У него никогда не было сомнений, что отец доживёт до следующего тысячелетия. Но дальше... Если себя он видел стариком, то старость отца казалась невероятной. Отец большой и умный. Добрый молчун, крайне редко взрывающийся эмоциями. Отец.

В 2000г. Че фатально заболел. Отсчёт начался. Ёжке удалось отодвинуть финал. Операция была успешной, но доктор предупредил – у отца есть ещё лет пять. Если будет беречься. Отец не берёт себя, но прожил дольше. Он старался жить как и раньше, хитрил, укрывая от Му, всё равно всё знавшей, курево и чекушки, а под конец, в открытую – искал допинга в крутом дешёвом кофе... И кто знает, что более коротило его дни. Привычка не отказывать себе, или внутренние борения, не видимые другим и так и не раскрытые родным.

Последние недели, когда отец мог только сидеть и управлять одной рукой, они чуть ли не каждый день пытались говорить по телефону. Ни о чём. Сын твердил «Держись. Впереди так много. Борись за себя прежде всего с собой.»

Отец словно из тумана, через долгие паузы отвечал «Понял. Когда приедешь? Жду.» Сын нажимал «Готовься. Я хочу увидеть тебя сильным. Читай, смотри телевизор. Делай через боль и слабость. Я скоро.» Отец бодрился и даже шутил «Хорошо. Буду песни петь. А приедешь, спляшем.» И ведь спел однажды «На безымянной высоте». Словно и правда, оттуда:

Дымилаь роща под горою,
а вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только двое...

Потом Ёжка, вспоминая эти дни отца, нещадно корил себя. Даже не столько за то, что не успел приехать. Хотя очень сильно об этом жалел. Его неизбывной болью осталось несканзанное отцу «ПИШИ!!!». Он не сомневался, что успеет он, они бы так и не поговорили о главном. О том, что отец копил в себе. О том, что думал. Сыну казалось, что если бы он попросил отца писать, то это могло стать толчком к выплеску сокровенного и соломиной, за которую отец мог вцепиться, чтобы жить. И даже если бы и это не спасло, отцом оставлено было бы СЛОВО, совсем не важно как высказанное в бумагу. Было бы ПИСЬМО из вечности. Которое можно было бы читать и читать. Так же точно, как они читали друг друга всегда, молча, часами рядом копошась незначимым или уставясь в книги, чувствовали высокую близость, не нуждающуюся в словах. И даже когда были вдалеке, вспоминая друг друга, чувствовали теплоту, и как Ня рассказывала позже, отец иногда преображался, светлея вздымал глаза небу и улыбался. Тогда она звонила сыну и пыталась выяснить, думал ли он перед тем о них. Ёжка конечно утверждал, что да. Не придавая этому значения. Однако потом ему вспомнилось, что почти всегда перед такими звонками он сталкивался с проблемой, пытаясь решить которую, спрашивал себя «а что бы посоветовал Че?» И решение находилось. А иной раз на него находило. Он не понимал причину этих странных состояний, когда вдруг бросал всё и переставал, как

казалось потом, о чём бы то ни было думать. Прострация была мягкой и комфортной. Краткой и яркой. После он поймал себя на мысли, что именно такая же прострация настигала его в детстве, когда он валялся то на отце, то прижавшись к нему. А отец в это время читал очередную книгу, забыв обо всём вокруг. Возможно, это совпадало с моментами ярчайших впечатлений отца от читаемого. После ухода отца приступы прекратились.

* * *

Ранний звонок матери он воспринял почти спокойно, только собираясь в дорогу всё забывал что-нибудь, чувствуя это, и по несколько минут силясь сосредоточиться.

Тысячекилометровый гон, разбавленный стычками с партизанящими ментами, не внимавшими причине сноровистости до тех пор, пока сторублевки не растапливали их сердца, завершился картиной просветлённого и мечтательного выражения лица отца в гробу. Первые сутки он сидел рядом и не мог поверить, что Че не спит. Только к концу второго дня отец осунулся и не оставил места сомнениям. На лбу проступил памятный шрам.

Ёжка был спокоен и дивился тому. Столь значимый факт его жизни свершился. Дальнейшее не имело значимых вех...

Его сорвало на поминках. Надо было сказать об отце. Но высказать не удалось. Закорёжило. Слезы предательски пытались пробиться из глаз. Стон рвал дыхание. Сцепленные руки неудержимо тянуло употребить об стол со скудными яствами. Трясло. Зубы скрипели. Было стыдно. Зал столовой, арендованный под дань скорби, молчал и ждал. Эта пауза его и спасла. Если бы кто-нибудь рискнул ему пособить в этой борьбе, удержаться бы не далось. А этого он себе позволить не мог, да и Че, казалось, не простил бы. Он после говорил. Речь была стройна и пространна. И не было в ней смысла, слов.

На 10-й день Ёжка уезжал. Мать обречённо суетилась, сознавая, что удержать сына не в силах. Он прозрел только в момент расставания. Мать стала вдруг в два раза меньше, и перестала быть и Му и Ня. Только сейчас превратилась в его глазах в сухую старушку. Его пробили тоска и первая, к той, Му, нежность. Ретировался как то рвано и быстро. Знобило.

По заведённой с похорон брата за три года до, традиции, делая крюк с пути, Ёжка заехал в Туровец.

* * *

Это место вызвало его восторг ещё в 9-м классе, когда позднемаяским днём, умкнув отцовскую моторную лодку он в компании с Юкой, Окой и их подругами, впервые забрался в высоченную гору от реки, в плавках. Впрочем и подельники не догадались приодеться иначе.

Поляна о двух церквах в окружении поросших ёлками обрывов поразила его.

Деревянная и каменная церквушки столь органично заполняли пейзаж, что казалось добавить к ним нечего, а убавить нельзя. Пропадёт гармония.

Стоя на краю, они завертелись, оглядываясь. Девчонки завизжали то ли от восторга, то ли балуясь. Неоглядная тайга уходила за горизонт, отделённая от туровецкой горы широченной в разливе Северной Двиной.

Несмотря на отсутствие на главках церквей золочения, они сияли в лучах майского солнца. По северному маленькие оконца словно подмигивали зайчиками, отчего Ёка жмурил глаза. Парни молча двинулись в обход церковной оградки, не сговариваясь о цели. Девчонки припозднились, щебеча звонко о чем то, как вдруг грозный бас, сквозь лаячий рык, словно с неба прогремел: «Кыш безбожные!!! Ко храму во трусах! Окоянные грешники. Вон, а то собаку пушшу!!!» Лай не оставил сомнений в намерениях попа, который в закатанных портах

и грязной майке стоял среди огорода примкнувшей к краю обрыва избушки. Сомнений, что это поп не могло быть. А кто ж ещё с бородой лопатой и эдаким голосищем?

Компанию сдуло с горы. Ёка всё оглядывался из удалявшейся лодки, пока макушка каменной церкви, которая чуть выше деревянной, не слилась с кромкой леса береговой черты. Компания подавленно молчала, пока не высадилась на бон лодочной станции. Потом они обсуждали, что бы было, если б они таки не сбежали. Ока твердил «Не мог поп собаку пустить. Грех по евонному». Юка не соглашался «А чё ему. Пустил бы. Тогда кому-то могло повезти и без трусов перед девками остаться!» Девчонки прыснули. Ёка представил себя бегущим от собаки без трусов на обомлевших девах и заалел. Юка громко, чтоб его дроля Нашка услышала, заорал «Конечно, Ёжку бы собака выбрала! Во бы он бесштаным то, да по крапиве?!» Действительно, весь склон горы был словно усеян молодой и потому особо злой крапивой, и поднимались они гуськом по узкой тропке. А вот как катились вниз, никто особо не разбирал, и обожжённые ноги нещадно зудели.

Слова Юки были обидны, но Ёжка признался себе, что вряд ли собака пропустила бы его, так как дружки были как всегда не в пример шустрее, и в лодке оказались быстрее девчонок, которые весь путь через Северную Двину, Вычегду и по затону до Лименды подхихикивали над их трусостью. Так, что Юка, дразня Ёку, пытался перевести стрелки на вечно неуклюжего и крайне застенчивого друга. Реакция Юкиной подруги была мгновенной.

– Ёжка то нас прикрывал, а вы так неслись, что нас чуть не задавили. Кавалеры хреновы!

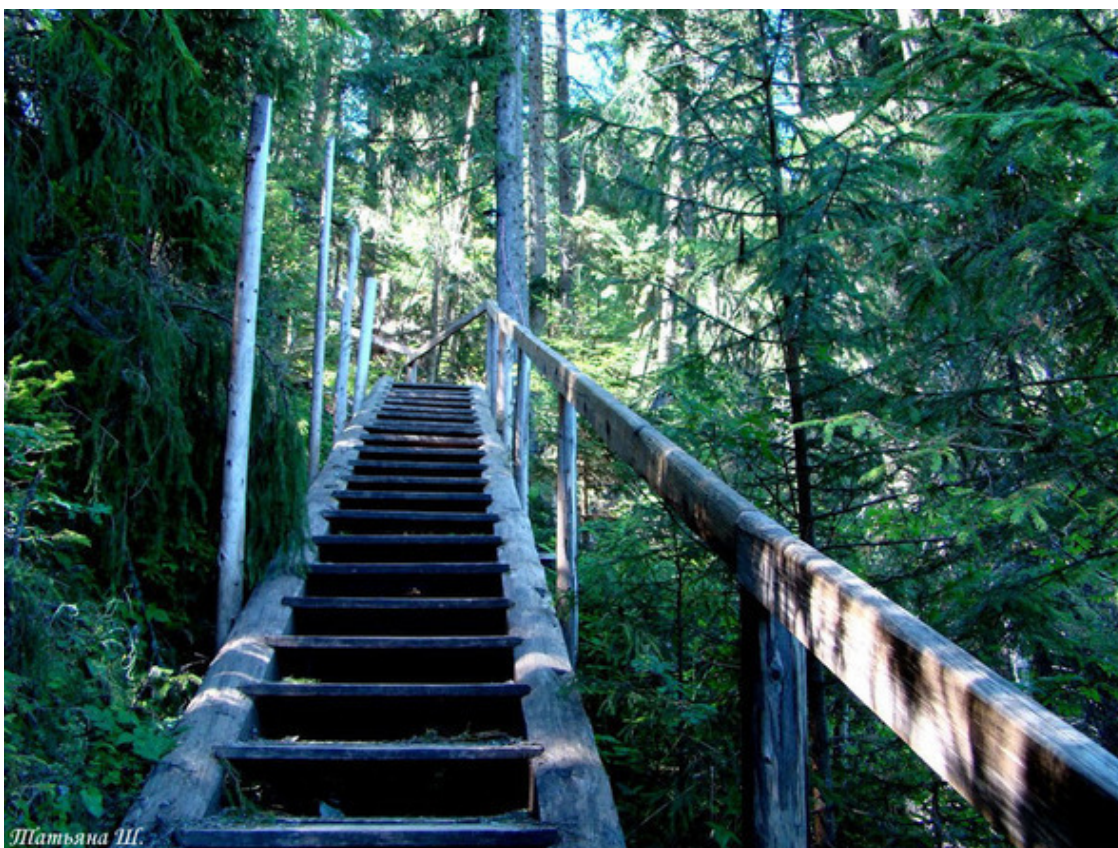
Теперь пришла очередь рдеть и Юке и Оке. Ёжка облегчённо вздохнул и ушёл в себя, вспоминая и вновь переживая виденное. Крапивные ожоги тут же забылись. Друзья же, подхватив девчонок под ручки, двинули заглаживать вину.

Гора

На поминках Маушки в августе 1991-го, аккурат в путч, он узнал туровецкую легенду. Мол приплыли веке в XIV на стык Двины и Вычегды татарове и давай у местных мзду вымогать, угрожая расправой. Что тогда было на Туровецкой горе, молва не сохранила. Может деревня, а может и молельня. Однако явилась тогда Богоматерь поганым и ослепила их, отчего те, к утру только прозрев, тут же сгнули.

С тех пор не было войн и больших бед в тех местах. А на явленной горе благодарное население воздвигло часовенку.

Гора та – клин высокого с северо-востока левого берега Двины, выпиленный с севера речкой Туровец, впадающей в главную как раз перед острием. Клин тот отсечён от основного массива берега перешейком, некогда видимо промытым невиданно большим паводком, и поныне всё равно столь высоким, что спущенная к старице Двины лестница так длинна, что всяк восходящий по ней успевает задышаться.



Перешеек поднимается в основание клина, поляну, охваченную облеснёнными склонами. Всё вместе столь необычно, что не стать местом преклонения древних не могло. Может и басурманы ослепли там от красоты и святости, кто знает теперь. Да и не доказано, были ли это те самые ордынцы, ведь официально считается, что до Русского Севера монголо-татары не дошли. Вероятнее всего то была ватага разбойников, отнюдь не чуждых православия.

Ёжка был на тот момент ещё атеистом, а чуть ранее и коммунистом.

Однако его сильно покорило факт, что в 1987 году, некто развалил и сбросил с горы ветхую часовню, возведённую сотни две лет тому, после пожара первой, и пережившую идео-

логию и похеризм советов. Это случилось ночью, что ещё более возмутило. Те нелюди в безвременье перестройки были не только лишены уважения к святости, но были чрезвычайно трусливы и способны на пакости лишь под покровом ночи. «Ну да им уже икнулось», подумал тогда Ёжка. Подлость не может быть не наказана.

Пустая поляна-сирота немо приняла неофита.

А за перешейком от клин-горы начало основного берега-горы стало местом сначала деревянной, в XVIII веке, церкви, а затем и рядом каменной, в конце XIX-го, из под которой чуть под горой незнамо когда забил ручеёк-источник толщиной в мизинец с чистойшей, истинно святой водой. И ручеек тот собой являл чудо, т.к. проистекал считай с вершины высоченного берегового обрыва. Много для ручья было мест и получше, чтобы стечь в Двину, ан нет, выбрал этакое. Не зря чай, да и не по своей видно воле.

Очередной повод посетить Гору представился лишь года через два после крещения.

Приезд на Гору был вновь вызван горем. Горем смерти Ёньки, сжигавшим Ёжку в дни похоронных и поминальных обрядов. Не находя места от боли, Ёжка скорее интуитивно, нежели осознанно приехал раненько, поднялся в Гору и был, несмотря на своё состояние, обрадован новенькой часовней. Забыв на время о причине появления здесь, обходил, осмотрел. Неохотно расстался, и отстояв службу в деревянной церкви, глаза жадно на расписанные наивно и очень давно стены могучего сруба, плахи свода, не выдержал и пошёл исповедаться.



Батюшка был уже другой, определил по голосу Ёжка. После исповеди попросил подождать и освободившись, присел ко чаду, притулившемуся на краю скамейки при входе в храм.

– Хорошо, что печалишься. Только помни, что не нам решать, когда уйти от этого света к свету вышнему. Брат твой шёл своим путём, и что бы ты не сделал, сыне, повернуть ту дорогу тебе, да и никому другому не дано. Он упокоился, и видит и чувствует печали твои. Но ему вовсе не нужно, чтобы ты нёс на себе вину, поверь. Не нужно. Живи и иди.

Ёжка в исповеди батюшке излился, что не успел вывести брата из запоя, за что и корит себя.

– Не трать себя на печали. Возрадуйся за душу его, освобождённую от недуга. Ты был старше его. Теперь он выше тебя. И душа его с вами, кто помнит о нём. И душа его с теми, о ком помните вы. А вместе они молят за вас. Так что живи живыми, им нужны твои силы, твоя душа, твоё сердце. И помыслы и дела твои Господом промыслены, а ушедшими к нему поддержаны.

Пока батюшка говорил, Ёжка трясся и плакал рекой. Так не рыдал он с раннего детства. Только в этот раз молча. Он чувствовал, что слёзы вымывают из него тяжесть и словно возносятся, становясь легче и легче.

Удаляясь от церкви, он ощущал затылком взгляд попа, однако, в отличие от обычной неприязни к таким ощущениям, это расправляло его плечи и придавало сил.

* * *

С тех пор Ёжка всякий раз, бывая в Котласе, перед отъездом посещал Туровец. И неважно, попевал ли он на службу или оказывался один на один с Горой. Скорее одиночество на Горе ему нравилось больше. Паломничество превратилось в ритуал, – неторопливый обход Горы, от церкви к источнику, от источника низом оберег Двины к часовне, вокруг неё по кромке обрывов и возврат к церквам.

Церквушки, словно сёстры на завалинке, встречали паломника, в любую погоду хорошась скромным одеянием то снежных платков, то солнечных бликов и отражённого тепла от стен, то расплывчатостью в дождевой завесе. Лишь однажды северной белой ночью Ёжке довелось застать на Горе туман. И это было со-бытием, т.к. церкви, расплывчатые в туманной вате, стали откровением Тишины, сном Яви. Ёжка, медленно медленно, обхаживая храмы, ждал и млеял, пока туман не уплыл с Горы. Но чудо этим не кончилось, так как туман, осевши с обрывов, ещё долгое время досыпал под Ёжкиными ногами, и быстро желтеющее солнце резало его медленно на части, раскрывая горизонт.



Стоявший близ истока ручья колодец позволял умыться из поднятого железного ведра с фырканием ледяной водой независимо от погоды. А затем, Ёжка, забравшись в шестигранный сруб, накрывающий источник, сидел долго на скамеечке, стремясь ни о чём не думать,

лишь отстранённо читая мольбы к богоматери, густо испещрявшие брёвна. Почему то, среди этих письмён, несмотря на их схожесть, Ёжка остро ощущал искренние, вызванные болью или отчаянием, или радостью избавления от мук. И наоборот, его удручали нудно обязательные записки. И не было ни разу желания нацарапать свою. Он привозил с собой бутылки и всегда после налива пил воду ручья из сложенных в чашу дланей. А когда зимой ручеек прятался где-то в снег, не показываясь в срубке, вода бралась из колодца. В дальней дороге стоило лишь ополоснуть лицо и шею, вода та, туровецкая, помогала бороться со сном лучше, чем чашка крепкого кофе. В заполошные будни глотками возвращала радость, отвлекая ненадолго от суеты.



Весточка

Закрайки обрывов вокруг часовни были вытоптаны тропой, с которой видимо никто никогда не ступал в стороны, т.к. снег или заросли были всегда нетронутыми. Могучие ели сторожили покой и часовенку, скудно отделанную, но тем и умильную. На ступеньках крыльца было уютно. Постоять, присесть, уединиться.

Ёжка вне себя от пережитого сидел, закрыв глаза. Уверялся.

Только что явленное не укладывалось в голове. Противоречило опыту *житого*, вторило мифу реченного.

Этим, ранним постдевятинным майским утром Ёжка, распрощавшись с матерью, добрался до Туровца в смятенных чувствах. Посидел в срубке, умылся многожды, пил ручья трижды. Не отпустило. Выбрался, когда чистое небо просияло светом взошедшего за горой солнца. Понуро поплёлся было по тропе к лестнице на клин, да упёрся в паводковый край рап-ластавшейся на ширину десятка вёрст Двины. И нет чтобы вернуться и позацерквами пойти на клин, так нет же, чтоб не нарушить принятое некогда правило, решился продраться сквозь густо заросший ельником склон. Через мокрый снег, склизкие проталины и гнилушки, хрусткие сухие и пружинные иглистые ветви. Исцарапался, исчертыхался, поначерпал ботинками снеговоды. Кое как вскарабкался сбоку на середину добротной сбитой на высоких столбах лестницы, и пока добрался по ней и взёмом до предчасовой поляны, запыхался так, что часто сглатывал выпрыгивавшее из горла сердце. В таком состоянии прислонился спиной к стволу первой о входе на поляну толстенной ели. Глянул на ещё прячущееся в вершинах зачасовенных елей солнце, и обомлел. Глаза застило малиновым светом, сердце мигом успокоилось и чувство приотцовской неги залило всё его существо. Ошарашенно закрывал и открывал глаза. Малиновое марево не отступало, и в нём неспешно стало проступать нечто. В одном месте неба, то ли близко, то ли далеко, независимо от поворота глаз или недоуменного мотания головой, проявилось ярко белое облачко. Мгновения или минуты спустя, Ёжка не мог потом определить, облачко обрело форму двух чётких геометрических фигур, и ещё не успевшая дооформиться экспозиция прошибла Ёжку догадкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.